

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

## Социальные последствия

- § 1. Каким образом начинаются и отчего не удаются революции
- § 2. Смысл закона о литературной собственности
- § 3. Присвоение интеллектуальной собственности
- § 4. Продолжение предыдущего: пожалование, скуп, фаворитизм
- § 5. Периодические издания
- § 6. О налоге на литературную собственность
- § 7. Учреждение промышленной собственности по образцу литературной:  
восстановление цехов и корпораций
- § 8. Влияние литературной монополии на общественное благосостояние
- § 9. Общий вывод. Еще о праве собственности

# § 1. Каким образом начинаются и отчего не удаются революции

Если проект закона о литературной собственности будет принят, то не останется и признака учреждений и идей 1789 г. Дух Франции совершенно изменится; чтобы окончательно уничтожить последние следы революции, стоит только дать новому закону войти в силу и внести его в свод законов.

Народ только до тех пор держится своих учреждений и законов, пока они соответствуют идеалу, им самим выработанному; как скоро этот идеал будет потрясен, общество тотчас преобразовывается. Таким образом революция 1789 г. была отречением от религиозного, политического и социального идеала, освящённого литературой XVII-го века. Точно таким-же образом, реакция, начавшаяся во время консульства, усилившаяся после 1848 г., есть ни что иное, как возвращение к этому старому идеалу, конечно с некоторыми ограничениями, которых требует дух нашего времени.

Благодаря сочинениям Боссюэта, Фенелона, Флери, Арно, Паскаля, Бурдалу и донна Каломе, Христианство приобрело такой рационализм и такой блеск, каких оно никогда не имело, даже во времена св. Августина. Философия, математические и естественные науки, поэзия и красноречие, способствовали этому преображению Христианства. С тех пор явилась возможность с гордостью проповедовать Евангелие: всякий верующий мог положительно сказать, что за него стоят и божественный и человеческий разум. Христианство стало больше чем вера, — оно сделалось целой системой мира, человека и Бога.

Славу религии разделила и монархия. Прозаики и поэты соединили свои усилия для обоготворения и восхваления монархии, которой теория народного самодержавия, введенная протестантами, придала еще более значения, проповедуя, что монархическая власть опирается и на предание и на логику.

В семнадцатом веке еще не понимали, что принципы общественного управления следует выводить из науки права; все единодушно признавали принципы власти, освящённой церковью, исходящей от Бога и воплощённой, по мнению одних, в лице короля, по мнению других — в лице народа. Но раз, что говорят о божественном происхождении власти, то совершенно бессмысленно влагать власть эту в руки народа, делать подданного королем, и называть правителем того, назначение которого — быть управляемым.

Не смотря на все бедствия, которые пришлось ей потерпеть, социальная иерархия наконец удостоилась освящения. Мольер, Буало и Ла-Брюэр хотя и насмехались над маркизами, но тем не менее питали глубокое уважение к самому принципу дворянства, в котором видели одно из необходимых условий существования общества и которое считали проявлением личного достоинства. Так как и до сих пор есть еще люди, которые утверждают, что равенство имуществ и состояний — химера, то дворянство имеет полное право на существование, а Фенелон в своем Телемаке и Сен-Симон в своих Мемуарах отстаивающие кастовое различие сословий и требующие расширения власти и значения дворянства — совершенно правы. По мнению этих великих публицистов Ришелье совершил тяжкое преступление, унизив значение дворянства; необходимейшею же реформой, которой ждали и по смерти Людовика XIV, точно также как прежде ждали во время его несовершеннолетия было — восстановление феодализма. Что касается до буржуазии, то, составленная из корпораций и цехов, она, вместе с парламентом была твердою опорой старого порядка.

Литература, служащая прототипом общества, способствовала сохранению существующего порядка, идеализируя его. Подобная идеализация прикрывала страшнейшие злоупотребления, гнуснейшие пороки, только с помощью этой идеализации Франция могла просуществовать до 1789 г. Слава великого века, затмившаяся во время двенадцатилетнего революционного волнения, вновь ожила в наше время и мы восторгаемся эпохой Людовика XIV, больше чем самые его современники.

Каким же образом Франция могла отторгнуться от такого могучего идеала; каким же образом могла существовать революция?

Мы знаем, что XVII век — век консерватизма и веры имел более склонности к искусствам, чем к рассуждениям. Разум употреблялся в дело только для того, чтобы поддерживать и украшать существующий порядок; поэзия и искусство, благодаря тридцатилетнему процветанию, сделались главным элементом XVII века. XVIII век держался совершенно противоположного направления; побуждаемый к тому и наукою, и плохим положением дел, он стал сравнивать действительность с идеалом, больше размышлял, чем восторгался, стал анализировать существующий порядок и этот анализ привел его к отрицанию.

В самом деле, и в церкви, и в власти, и в дворянстве, и в духовенстве, везде действительность была отвратительна и даже те, которые меньше всего были предубеждены против существующего порядка, должны были отвергнуть всякую возможность излечения и, следовательно, должны были видеть всю неудовлетворительность идеала.

Одним словом, революция была протестом положительного разума против внушений воображения и веры и все последующие события были последствием этого протеста. Идеал монархии, феодализма и теологии был ложен, т. е. я хочу сказать, что действительность, на которой он основывался, была нерациональна и безнравственна и что рано или поздно, критика должна была уничтожить его привлекательность. Анализ XVIII века был безупречен и революция была его законным последствием.

Теперь французы отрекаются от этой революции; найти причину подобного факта конечно совсем не трудно. Нужно ли объяснять читателю, что в прочтенных им строках нет ни прямого, ни косвенного обвинения правительства; я пишу не политическую сатиру, а просто психологию общества. Тут нет никакого доноса о тайном заговоре; я изображаю только естественный ход мнений и последовательную смену идей и фактов, окончательные результаты которых я тотчас же выведу; все то, о чём я говорю не зависит от правительственных распоряжений и за приводимые мною события никто не подлежит никакой ответственности.

Я уже сказал выше (ч. II §§ 6, 7, 8), что причина того упадка, свидетелями которого нам пришлось быть, кроется не в принципах революции (принципы эти — справедливость и наука), — не в тех заключениях, которые мы старались из них вывести, потому что эти заключения состоят в развитии права и свободы; причин этих нужно искать в неразвитости народа, который не был достаточно подготовлен для такого великого дела. Мы не разрешили ни одной из великих задач 1789 г., а уже изнемогаем от усталости и деморализации. Ни своими учреждениями, ни своими искусствами мы не сумели идеализировать революции, нами предпринятой; напротив того, так как из событий, сопровождавших революцию, мы сохранили воспоминания только об её ужасах, то неминуемо должны были возвратиться к идеалу XVII века, к которому влекла нас блестящая литература, на некоторое время стушевавшаяся пред философией. Со времени Робеспьера Франция снова почувствовала стремление к Богу и королю; Наполеон осуществил оба эти желания, наделил Францию победами, дворянством и орденами. С этой точки зрения, Наполеона можно назвать гением-восстановителем, верным представителем своего времени.

Но реставрация, энергически начатая первым консулом, слабо продолжавшаяся при Бурбонах и Луи-Филиппе, есть ни что иное как набросанный эскиз; мы же — народ логический, народ который любит идти по раз найденному следу до того места, куда он может нас довести. Что-же в этом случае говорит нам здравый смысл? Что критический ум всегда свободен и что нужно суметь овладеть им.

Пусть сколько угодно подавляют, угрожают, предупреждают, наказывают: законы о печати имеют весьма мало значения, цензура-же ровно никакого; судебные приговоры только разжигают огонь. С другой стороны очевидно, что не смотря на все желание, мы не можем возвратиться к порядку вещей существовавшему при Людовике XIV. Для этого пришлось бы принципы 1789 г., серьёзные верования XVII века и дух пытливости XVIII-го века заменить фантастическими нравами, которые, удовлетворяя нашей гордости и чувственности, давали бы нам возможность не признавать никакой философии, не уважать никаких учреждений и презрительно относиться ко всяким принципам; уничтожить в нации всякую возможность рассуждать, забинтовать её мозг; словом, уничтожить всякую критику и поставить мышление в зависимость от государства.

Первая часть этой программы почти уже выполнена, нужно только дожидаться выполнения второй. Дух анализа, которым Франция отличалась в XVIII веке, уступил место культу чистого искусства, искусства безусловного, понимаемого не как изображение действительности, а как нечто фантастическое, не влекущее ни к каким социальным

последствиям. Мы уже не рыцари идей, мы обожатели идеала. Право, нравственность, исторические и политические законы имеют для нас лишь на столько значения, на сколько они служат этому идеалу, который сделался единственным объектом нашей веры, нашей любви. Поклонение идеалу — такова религия всех наших писателей, какой бы специальностью они не занимались, будь то критика, философия, история, романы или поэзия. Сама революция сделалась чем-то фантастическим. Подобно всем испорченным и развращённым обществам, французское общество, не веря более ни во что и в себя меньше чем во все остальное, обратилось просто к дилетантизму; самая прозаическая из всех наций вздумала считать себя нацией исключительно артистической и с тех пор ни принципы, ни справедливость ее уже более не воодушевляют. Время идей прошло; в глазах французской публики — писатель, который рассуждает, доказывает, выводит заключения — человек отсталый. Даже и промышленное наше рвение, которым мы до такой степени гордились, ослабевает; мы сознаемся, на что наши предки никогда бы не согласились, что немцы и англичане превосходят нас в производстве необходимых и дешёвых вещей: но за то никто не может с нами сравниться в производстве предметов роскоши. Таким образом англичане, которые в 1788 г. стояли далеко ниже нас в торговом отношении, в настоящее время, получают от внешней торговли около восьми миллиардов, тогда как мы едва получаем и половину, а если будем и впредь идти по тому же идеалистическому пути, то, благодаря свободному обмену, другие завладеют вскоре и собственным нашим рынком. Кто же виноват во всем этом? — Страна или правительство? — Ни та, ни другое. Это просто факт общественной психологии, такой же факт как и то, что в 93 году преобладала чувствительность, в 1814 г. — законность, в 1825 — набожность, в 1832 — романтизм. Можно проследить ход развития подобных фактов; но нельзя не признать их фактами самобытными.

Теперь остается только выполнить вторую часть программы, т. е. добиться уничтожения способности рассуждать, к чему общество уже хорошо подготовлено этим изнеживающим дилетантизмом. Очевидно, что как только в нации окончательно заглохнет дух критики, то революция будет окончательно побеждена; Франция, считающая себя артистической страной, воображающая, что она с своим идеалом господствует над всем миром, придет в совершенный упадок; Париж, который называли мозгом всего земного шара, превратится в столицу модисток. Вот к чему приведет установление интеллектуальной собственности.

# § 2. Смысл закона о литературной собственности

В древнем Египте, кроме отправления богослужения, духовенство имело еще исключительное право заниматься науками, литературой и искусствами. Однообразие египетской архитектуры и скульптуры было следствием этой привилегии. Впродолжении 15-ти, 20-ти веков типы в искусстве нисколько не изменялись. Тот же характер неподвижности виден и в памятниках Персии и Ассирии и служит явным признаком монополии в области мануфактуры и искусства. Понятно, что при таких порядках древние общества жили, так сказать, вне времени. Для них век был все равно, что день: какая завидная участь! Писатели, которые восторгаются продолжительностью существования этих первых монархий, должны были бы по крайней мере показать своим читателям, чем обуславливалась эта продолжительность. Многие эмигрировали бы из государства, если бы видели перед собою сорокалетнюю смерть; голод, холера, гражданская война и инквизиция, все вместе, не так страшны, как эта неподвижность.

Защитники интеллектуальной собственности не сознают, что введение её поведет к уменьшению числа изобретений и вследствие монополизации идей и уничтожения конкуренции, остановит ход прогресса. Подобное непонимание служит лучшим доказательством их невинности, но не делает чести их прозорливости.

Я кажется уже доказал, что все произведения, принадлежащие к области науки и права, по самой природе своей непродажны; что труд артистов и учёных подлежит тому же самому закону и что независимо от соображений политико-экономических, которые заставляют их довольствоваться простым гонораром, самое достоинство их профессии запрещает им требовать большего.

Итак одно из двух: или новый закон не имеет смысла, или он доказывает, что профессии, очень удачно названные свободными, — на самом деле ничто иное, как только особый вид холопской промышленности; что главная цель этих профессий, как и всех других — богатство; что занимающиеся этими профессиями имеют право извлекать из своих сочинений какую им угодно выгоду, обуславливая их распространение чем им угодно; что одним из этих условий может быть вечная привилегия на продажу экземпляров своего сочинения; что защищать непродajeваемость творений ума, значит приписывать художникам и писателям такой характер, который им не принадлежит, значит делать их настоящими провозвестниками истины, добра и справедливости, тогда как они совсем не провозвестники, а разве разносчики; что в настоящее время нельзя уже, как делалось это в

старину, называть поэта служителем и другом богов, так как он в настоящее время только продавец духовных песен и амулетов; что наконец, если законодатель учредит в области ума такую же собственность какая установлена в пользу землевладельцев, то будет весьма справедливо с его стороны даровать писателю монополию на неограниченное число лет.

Следовательно, из формы и содержания закона видно, что произведения философии, науки, литературы, искусства — могут быть продаваемы. Рассмотрев это, пойдем дальше.

Мы сказали, что заменяя договор купли, продажи — пожизненную ренту, правительство поступает совершенно произвольно и вопреки всем принципам права и политической экономии, заботясь лишь о том, чтобы удовлетворить корыстолюбие писателя и установить в пользу его ту монополию, которой он добивается. Итак, издавая подобный закон, законодатель мало того, что оценивает сверх заслуги труд автора, но и пренебрегает общественными выгодами, причиняет ущерб целому обществу.

Мы знаем каким характером отличаются все человеческие произведения, как в области философии, литературы и искусства, так и в области мануфактуры. Производительность эта состоит не в сотворении (в метафизическом смысле этого слова) идеи или тел, но в придании известной формы материи и идеям, формы чисто индивидуальной и скоропреходящей. За подобное придание формы, а иногда еще и за первенство открытия вы даруете писателю право, которое обнимает и самую идею, т. е. то, что безлично, неподвижно, обще всем людям. Я уверен, что эта идея, сегодня впервые открытая и выраженная, которую вы так великодушно обращаете в собственность нашедшего ее писателя, завтра могла бы быть открыта другим, а через десять лет и несколькими вдруг. Несомненно, что когда настала пора появления какой либо идеи, то она является одновременно в нескольких местах, так что первенство открытия ничего не значит в сравнении с неизмеримостью движения общечеловеческой мысли. Дифференциальное исчисление почти в одно и то же время было открыто Лейбницем, Ньютоном и Ферма и по некоторым указаниям первого было отгадано Вернулли. Взгляните на поле: можете ли вы сказать, который колос раньше всех вышел из земли и есть ли возможность предположить, что все колосья вышли из земли благодаря инициативе первого. Почти таково же и положение тех творцов (как их называют), которых хотят обратить в каких то благодетелей человеческого рода. Они увидели, выразили то, что уже было в мысли общества; они сформулировали закон природы, который рано или поздно неминуемо должен быть сформулирован, так как явление известно; они придали более или менее красивый вид предмету, уже задолго до них идеализированному в воображении народа. Что касается до литературы и искусства, то в этих сферах все усилия гения должны быть направлены на то, чтобы выразить идеал массы. Творчество (даже в этом тесном смысле), в особенности если оно вполне удачно, без всякого сомнения, уже достойно благодарности; но зачем лишать человечество его достояния, зачем обращать науку и литературу в какие то ловушки для рассудка и свободы?

Интеллектуальная собственность сверх того, что изъявляет притязание на общественное достояние, отнимает еще у общества и ту законную часть, которая принадлежит ему, в производстве всякой идеи и всякой формы.

Общество составляет группу; оно живет двоякою, реальною жизнью; как нечто собирательное и как множество индивидуумов. Деятельность его в одно и тоже время и коллективная, и индивидуальная деятельность, мысль его также и коллективна, и индивидуальна. Все, что происходит в этой группе, носит на себе такой характер двойственности. Конечно факт существования коллективности еще не может служить достаточною причиною для того, чтобы обратиться к теории коммунизма и на оборот факт индивидуальности не дает нам права не признавать общих прав и интересов. В этом то распределении и равновесии коллективных и индивидуальных сил, т. е. в справедливости, и заключается сущность науки управления.

В новом законе о литературной собственности интересы индивидуума вполне гарантированы; но что же достанется на долю общества? — Конечно общество должно вознаградить автора за его труд и даже, если хотите, за его инициативу, но вместе с тем общество имеет и свою долю в этом произведении, оно должно участвовать в собирании плодов. Эту законную долю общество получает посредством договора мены, благодаря которому вознаграждение соразмеряется с услугой. Интеллектуальная же собственность напротив того ничего не оставляет на долю общества, но все отдает автору. Итак, в спроектированном законе мы видим во первых: признание продажными вещей, по самой природе своей не продажных, и во вторых: нарушение прав общества. Перейдем к приложению закона.



# § 3. Присвоение интеллектуальной собственности

Неизбежным, страшным последствием нового закона, несмотря ни на все уступки, которые мог бы сделать законодатель, ни на протесты тех, которые требуют введения литературной монополии, будет то, что не только самое произведение, но и общая всем, безличная, неотчуждаемая идея — превратится в собственность. В этом случае содержание нераздельно от формы; одно неизбежно следует участи другого. В результате окажется, что кроме монополизированной книги нельзя будет ни читать, ни писать никакой другой, нельзя будет иметь никакой другой мысли, кроме мысли писателя-собственника.

Возьмем для примера Арифметику Безу и для удобства предположим, что Безу первый изобрел письменную нумерацию, четыре правила, пропорции, логарифмы и т. д. Безу издает свою Арифметику и закон дарует ему право вечной продажи этого сочинения.

Следовательно, все другие арифметики будут запрещены, так как очевидно, что здесь содержание преобладает над формой; что от разности редакции сущность нисколько не изменяется; что арифметические действия всегда одни и те же; что таблицы логарифмов всегда одинаковы; что арифметические знаки, язык, определения — не изменяются. Таким образом для всей Франции, для всей Европы будет существовать только один учебник Безу и все те, которые захотят выучиться считать должны будут учиться по этому учебнику.

Все вышесказанное может относиться и к учебникам геометрии, алгебры, физики и проч. Следовательно, всякая конкуренция, для этих изделий, все достоинство которых заключается в идее, будет уничтожена; (под конкуренцией в этом случае я подразумеваю возможность воспроизвести идею изобретателя в других выражениях). Одним словом, так как содержание преобладает над формой, то и будет существовать одна только книга, по весьма простой причине, что идея одна и та же: *Una idea, unus auctor, unus liber*.

Возьмем другой пример; мы только что видели как содержание преобладает над формой, теперь же увидим как форма берет верх над содержанием.

В силу одного закона 1791-го года, подтвержденного в последнее время, молитвенники сделались епископальной собственностью. В каждой епархии они продаются в пользу епархиального духовенства, во всяком случае никто не может их продавать без разрешения духовенства. Следствием этого присвоения было то, что все молитвенники стали похожи один на другой, так что верующий может молиться Богу только по известной форме и в выражениях, предписанных высшим духовенством. «Церковные часы», «Ангелы

путеводители» и все тому подобные книги духовного содержания могут продаваться только с разрешения Епископа. Здесь, говорю я, форма преобладает над содержанием, и в самом деле, какая сущность этих книг? Это стремление души к Богу, на которого она смотрит, как на отца, творца, искупителя, олицетворение справедливости и наконец, как на мстителя, наказующего за грехи. Основываясь на таких общих, неопределенных данных, понятно, что можно разнообразить выражения до бесконечности и писать книги на столько отличные одна от другой на сколько Батрахомиомехия отличается от Иллиады. Но церковь предупредила подобную деятельность, она составила формулы для молитв, сочинила утренние и вечерние молитвы с сохранением за собою права перевода и истолкования. Следовательно, действительно здесь форма преобладает над содержанием, так как по закону никто не может учить детей молиться Богу и распространять формулы славословия, неодобренные духовенством. Нетрудно было бы причислить к той или другой категории, т. е. к научным книгам, в которых содержание преобладает над формой, или к религиозным, в которых форма преобладает над содержанием, все произведения литературы и искусства и присваивать себе то форму в ущерб идее, то идею в ущерб форме.

Раз что какое нибудь сочинение философского, или политико-экономического, или юридического содержания, заключающее новые, оригинальные идеи будет признано классическим, то оно исключит все прочие, подобные ему сочинения, сущность которых будет та же, с изменением лишь выражений. Всякий знает, что преступление против литературной собственности не заключается только в заимствовании чужих фраз, имени, но и в присвоении чужого учения, чужого метода, чужой идеи и этот род воровства принадлежит к самым низким. Существуют разные «философии» — Декарта, Малебранша, Спинозы, Канта и т. д.; есть две книги, носящие заглавие: «Доказательство существования Бога», — одна Кларка, другая Фенелона; есть «Нравственность» Зенона и другая «Нравственность» Эпикура и т. д. Выдача автору бессрочной привилегии на издание и изменение своего сочинения принесет большой ущерб книгопродавцам, уничтожив всех подражателей, контрафакторов, копиистов, комментаторов и т. д.

Заметьте, что это будет совершенно логично и даже, с некоторой точки зрения, полезно и нравственно. Всякая посредственность не посмеет уже больше писать; вороны в павлиньих перьях будут изгнаны; болтовня прекратится. Конечно подобным полицейским мерам я предпочту суд общественного мнения (хотя оно иногда и заблуждается, а иногда долго не высказывается); но в сущности требования собственников будут все таки совершенно основательны и рано или поздно правительство, найдя и в этом свою выгоду окажет им справедливость.

То же самое можно сказать и о творениях искусства, сущность которых также заключается не в выборе предметов, но в форме, сообщённой идеалу.

Например про драматического артиста говорят, что он создал роль и в самом деле истинный артист только по этому творчеству и узнается. Следовательно, зачем же позволять другому артисту, искусному в подражании, но неспособному к созданию ролей, завладевать собственностью своего товарища и играть не обдумывая те же роли, благодаря только стараниям другого. Всех подражателей нельзя назвать артистами, их можно терпеть только до тех пор, пока они не искажают оригинала. Что же из этого следует? Для того, чтобы

гарантировать драматическому артисту ненарушимость его права, которое также священо, как и право автора, нужно запретить всякому подражать ему, что неисполнимо; или запретить всем другим представление той же пьесы, что уже совершенно нелепо.

Все вышесказанное может относиться и к живописи, и к скульптуре, и к поэзии, и к роману. Поэтическая идея точно также может быть украдена, как воруются алгебраическая идея или какое нибудь изобретение; в мире искусств есть столько же людей, живущих этим родом воровства, сколько и в мире промышленности и мануфактуры. Если только будет принят закон о художественной и литературной собственности, то он должен будет предвидеть все эти случаи воровства, должен будет учредить особый род присяжных экспертов и так как форма преобладает над содержанием, то мы придем наконец к тому, что будем обращать в собственность и самые сюжеты сочинений, как то делали Египтяне, жрецы которых одни только имели право, по раз установленным правилам, производить барельефы, статуи, сфинксы, обелиски, строить храмы и пирамиды. Вот до чего доводит нас логика, которая как известно всегда безжалостна в своих приговорах.

# § 4. Продолжение предыдущего: пожалование, скуп, фаворитизм

Мы уже видели каким образом законное обращение литературного произведения в собственность ведет к обращению в собственность и самих идей. До сих пор я говорил обо всем только с точки зрения теории, теперь же покажу, что и с практической стороны весьма не трудно осуществить подобное присвоение, во многом оно даже уже и совершилось.

Вы, может быть, думаете, что те произведения литературы, которые сделались общественною собственностью еще до обнародования нового закона, останутся в прежнем положении; что они по крайней мере будут служить защитой от распространения литературной собственности и злоупотребления ею. Но все это только кажется; древние авторы тоже будут присвоены и вот каким образом:

Профессор, при издании какогонибудь греческого или латинского автора, прибавляет от себя введение, примечания, биографию автора, или словарь. Совет университета признает его издание за лучшее и с тех пор только оно одно и будет продаваться. Так как прибавления, сделанные издателем — творения его ума, то они и обращаются в собственность издателя. Всякому будет позволено перепечатывать древний текст и снабжать его какими угодно глоссами, но будет запрещено присваивать себе труд знаменитого комментатора. Следовательно конкуренция будет невозможна, прибавочное сделается главным и «Георгики», «Метаморфозы», «Письма Цицерона» — сделаются источником вечного дохода для издателя, который положительно будет в состоянии говорить: мой Вергилий, мой Овидий, мой Цицерон. Таким, или почти таким образом во Франции ведется торговля классическими книгами.

Аббат Ломонд, посвятивший всю свою жизнь воспитанию юношества и умерший в совершенной бедности продавал свои «Основные правила французской грамматики» по 50-ти сантимов. Грамматика гг. Ноеля и Шапсаля, более обширная, втрое дороже. Между тем расходы на издание этой грамматики весьма немногим превышают расходы на издание книги Ломонда. Несмотря на такое огромное различие в цене грамматика Ноеля и Шапсаля заняла первое место в ряду всех подобных изданий; она сделалась выгодным предметом торговли и конечно часто служила объектом контрафакции. Я не знаю какая грамматика

считается лучшею в настоящее время, я говорю о тридцатых годах. Грамматика гг. Ноеля и Шапсаля была для них вечным источником дохода, а между тем эти господа, занимая высшие должности в университете и получая за это приличное содержание, должны бы в замен этого посвятить государству весь свой труд, тем более что влияние их, как профессоров было конечно одною из причин распространения их грамматики. Они об одном только и думали, как бы накопить денег, а правительство потворствовало этому стремлению. В настоящее время к пожизненному вознаграждению хотят прибавить еще и вечную привилегию. Следовательно нужно проститься со всяким грамматическим сочинением, с литературною критикою, лексикографиею и т. п. Обращаясь в собственность, все становится неподвижным. При таком порядке вещей очень легко понять, каким образом сочинения, которые не могли бы просуществовать и десяти лет, будут существовать целые века. Время от времени какойнибудь министр, найдя, что такое то издание устарело, передаст одному из своих креатур привилегию продажи подобно тому, как передают из рук в руки содержание оброчных статей. И против этого ничего нельзя будет сказать. С одной стороны правительство только воспользуется своим правом, объявив, что такое то сочинение лучше другого, с другой стороны, оно не посягнет ни на конкуренцию, ни на право собственности.

Этот род пожалования может иметь самое разнообразное применение. Раз что установится такого рода литературная собственность можно положительно сказать, что самые замечательные, самые популярные сочинения никогда не сделаются общественною собственностью; наследники авторов никогда не откажутся от своей привилегии. Если же какойнибудь посредственный писатель, пользующийся благосклонностью правительства, напишет книгу, которая не будет расходиться, то правительство в видах общественной пользы купит у автора его сочинение. Таким образом фаворитизм перенесется в область свободной мысли, свободного искусства. Скажу больше, — истинная заслуга будет уничтожена, нейтрализована, благодаря подлому направлению конкуренции, возбуждаемой, в случае надобности, правительством. Пусть явится такое замечательное сочинение, которое было бы опасно запретить, но которое вместе с тем разоблачает тайные мысли и политику правительства, тотчас же сошлются на требование общественной пользы и сочинение будет изменено, очищено, урезано или даже и вовсе уничтожено путем экспроприации.

Естественно, что и в сочинениях Вольтера, Дидро, Руссо, Вольнея, есть много таких хороших, разумных, нравственных, полезных мыслей, которых жаль было бы лишиться. Как бы неприязненно правительство не относилось к философии, оно все таки не решится уничтожить всех трудов подобных писателей. С другой стороны, нельзя не сознаться, что у всех этих писателей можно встретить много ошибочного, несовременного, неверного. Кроме того, много ли таких капиталистов, которые могли бы издать семьдесят томов сочинений Вольтера, тридцать томов Руссо, двадцать пять Вольнея и т. д. Издание избранных сочинений, с прибавкою критических заметок, разбора и общего вывода, удовлетворит всем требованиям и уничтожит неудобства, представляемые полным изданием. Если подобные издания избранных сочинений, поощряемые и издаваемые правительством продаются за весьма умеренную цену, кому после того придет в голову издавать полные сочинения. Благодаря такой законной, рациональной, даже нравственной системе очень легко сделать Вольтера — верующим, Руссо — консерватором, Дидро — роялистом и т. д. Поручите г.

Ламартину издать Рабле или Лафонтена и вы увидите что он из них сделает.{16}

Таким образом в руках правительства будет жизнь и смерть литературного произведения; правительство будет в состоянии произвольно уменьшать или увеличивать срок существования книги, от него будет зависеть составить и уничтожить славу известного сочинения; все мысли, таланты, гении будут во власти правительства. Против подобной власти не устоять никакой оппозиции. Право собственности и экспроприация, конкуренция и критика будут служить правительству верными средствами для уничтожения всякой мысли, которой оно не разделяет, всякого выражения, противного его идеям. Ни в литературе, ни в философии, ни в искусстве не останется жизни и мы, подобно древним Египтянам, сделаемся народом мумий, иероглифов и сфинксов.

# § 5. Периодические издания

Первый человек, возымевший мысль издавать газету во Франции, был доктор Ренодо (Renaudot), основатель «Французской газеты» (Gazette de France), которая начав свое существование в 1634 году продолжала впоследствии издаваться сыновьями Ренодо и дожила до настоящего времени.

Мысль издавать журнал, как с литературной, так и с промышленной точки зрения весьма удобно может быть обращена в объект привилегии и права собственности. Человек, бывший в одно и то же время и учёным, и литератором, и типографом, и книгопродавцем, вздумал ежедневно давать публике лист бумаги, заключающий в себе краткий перечень событий политических, военных, административных, судебных, академических, учёных, художественных, духовных и литературных; отчёт о бирже и театре, иностранные известия, критические заметки, объявления и проч. Не богатая ли это, не плодотворная ли мысль, могущая дать самые счастливые результаты не только в финансовом, но и в умственном, и нравственном отношении? Создавая такой журнал, автор, кроме гениального произведения, создал еще совершенно новый род литературы. Если существует какое нибудь литературное произведение, подходящее под условия собственности, так это именно вышеприведенное.

Это еще не все; чтобы достигнуть своей цели и усовершенствовать свой журнал этот же самый человек учредил товарищество и собрал значительные капиталы. Редакторы, выбранные из самых знаменитых писателей, получали от него огромное жалование; во всех главных городах провинций, во всех столицах Европы он имел хороших корреспондентов; одним словом, он употреблял все средства, чтобы придать своему журналу всесторонний интерес. Он принял даже меры к тому, чтобы в провинциях издавать небольшие газеты, которые служили бы снимками с парижской. Чтобы удовлетворить всем требованиям, всем состояниям, Ренодо хотел издавать еженедельную газету и ежемесячный журнал, которые заключали бы в себе сущность всего того, что писалось в ежедневной газете и которые были бы похожи на издания, в настоящее время носящие название обзоров (revues).

По принципу первенства открытия и литературной собственности, король даровал бы Ренодо вечную привилегию, имеющую силу во всем государстве. Всем было бы запрещено издавать газеты или какие-либо другие периодические издания, которые конечно могли бы быть только подражанием французской газете. Что может быть справедливее этого? Король таким образом только воздал бы должное произведению гения, он не мог бы позволить, чтобы другие, наученные его примером и увлечённые его успехом стали бы отбивать подписчиков и разорять изобретателя. Даже и те возражения, что другая газета будет говорить о событиях в иных выражениях, будет смотреть на факты с другой точки зрения,

что она будет заключать в себе то, что пропущено в первой, наконец будет с нею полемизировать, не могут быть приняты в соображение, потому что разрешение издания другой газеты есть нарушение прав первого изобретателя.

Итак вся Франция обязана будет читать только одну газету, мыслить только так, как то благоугодно будет господину Ренодо, который с своей стороны будет действовать по инструкциям. Защитники литературной собственности скажут, что я преувеличивал последствия, вытекающие из принятия их принципа, чтобы тем легче доставить себе удовольствие опровергнуть этот принцип. Но пусть они посмотрят, что только делается в настоящее время, при тех условиях, в которых находится французская пресса; журналы наполнены мыслями опасными не для правительства, которое имеет возможность защищаться, но для народа, для тех партий и тех мнений, представителями которых они должны были бы служить. А между тем право литературной собственности еще не провозглашено, конкуренция еще продолжает существовать, словом привилегии еще нет. Позволение издавать журнал, данное министром может равняться подарку ценою в 100,000 франков. Это то же самое, что и концессия доков и железных дорог. Разрешение журнала это патент на существование известного мнения, известной партии, точно также как и запрещение журнала есть умерщвление этой партии.

Монополизированный журнализм держит в своих руках и политику, и биржу, и литературу, и искусства, и науки, и церковь, и государство. Кроме того, он имеет бездну источников дохода: за припечатание объявления платят деньги, за отчеты о каком либо предприятии, в каком бы он духе не был написан, непременно платит та или другая сторона, за рекламу платится еще дороже и т. д. Справедливость, истина, разум, все они давно перестали быть безвозмездными, все они подобно лжи, пристрастию, софизму, — обратились в такие услуги, которые даром не оказываются.

За отсутствием свободы мнений все общественные отношения основываются на интригах и барышничестве; такова обетованная земля продажного журнализма, содействующего развитию политического рабства, спекуляций, промышленных и литературных реклам, филантропического надувательства, словом всевозможных видов шарлатанства. В настоящую минуту, благодаря существующему законодательству, мы находимся еще в чистилище, но стоит только обнародовать новый закон о литературной собственности и мы перейдем в область вечной муки.



# § 6. О налоге на литературную собственность

Понятие собственности неизбежно влечёт за собою понятие налога. Если литературная собственность будет уравнена с поземельною, то, принося доход, она должна подлежать налогу. Чтобы быть правильным, этот налог должен существовать в двух формах: в виде прямого и постоянного, пропорционального пространству и внешнему виду собственности, и в виде косвенного, зависящего от размера эксплуатации. Если произведение не приносит столько дохода, чтобы из него можно было заплатить прямой налог, то автор принужден будет покинуть его, как покидают бесплодную землю; таким образом констатируется естественная смерть сочинения. Как вещь никому не принадлежащая это произведение сделается собственностью государства, которое и может делать с ним, что угодно; сдать его в архив или передать какому нибудь спекулянту, сумеющему извлечь из него пользу.

Мысль о налоге на произведения ума несколько не пугает защитников литературной собственности. «Отчего же», говорит Гетцель, «литературная собственность не будет нести таких же повинностей, как и все остальные собственности; не лучше ли платить подати, но за то иметь собственность постоянную, чем пользоваться только временным правом собственности». Это то же самое, что сказать: не лучше ли иметь майорат, приносящий 50,000 франков ежегодного дохода и платить за это 3,000 франков казне, да расходовать 15,000 фр. на поддержание этого майората, чем довольствоваться половинным окладом.

Г. Гетцель, думающий, что он разрешил задачу литературной собственности, так как в качестве книгопродавца-издателя указал более или менее удобные средства для установления авторских прав и пользования ими, самым наивным образом доказывает справедливость моего мнения, что и он, вместе с гг. Альфонсом Карром, Аллури, Пельтаном, Улбахом и друг., ничего в этом деле не понимает.

Он исходит из того знаменитого принципа Альфонса Карра, что «литературная собственность такая же есть собственность, как и всякая другая» и возведя эту ерунду в афоризм, доказывает, что весьма легко утвердить за автором вечное право на получение известного процента с цены каждой продаваемой книги. Но прежде всего нужно именно узнать есть ли литературная собственность «такая же собственность как и всякая другая», т. е. может ли литературное произведение породить собственность, аналогичную поземельной. Мы вывели совершенно противное заключение, сначала из политической экономии, а потом из эстетики, гипотеза же об обложении умственных произведений особого рода контрибуцией, еще более подтверждает наш вывод.

Напомним в последний раз о том, о чём мы достаточно уже говорили, что произведения литературы и искусства принадлежат к категории вещей непродажных, вещей, для которых губительно применение к ним принципа торгашества, барышничества. Я более уже не возвращусь к тому, что оговорено об этом предмете: это все такие истины, которых нельзя вывести посредством силлогизмов или алгебраических формул, но которые вытекают из социальной необходимости, которые понятны всякому, в ком сохранилось хотя малейшее нравственное чувство. Наложить налог на науки, поэзию, искусство, — значило бы тоже что наложить налог на набожность, справедливость и нравственность, — это было бы освящением симонии, продажности суда и шарлатанства.

Я охотно соглашусь, что в сущности мы не хуже своих предков, но я не могу не сознаться, что в настоящее время во всех умах замечается какое-то всеобщее замешательство. Мы потеряли ту деликатность чувств, ту утончённую честность, которыми в прежнее время отличалась французская нация. Религиозное и политическое равнодушие, распущенность семейной нравственности и сверх всего этого решительное преобладание идеализированного утилитаризма развратили нас, убили в нас много хороших способностей. Понятие безвозмездной добродетели выше нашего понимания и выше нашего темперамента; для нас перестали быть понятными и чувство собственного достоинства, и свобода, и радость, и любовь. Я очень хорошо понимаю, что мы должны получать какое-нибудь вознаграждение за свой труд, но с другой стороны думаю, что мы обязаны также оказывать друг другу уважение и сочувствие, соблюдать справедливость во взаимных отношениях и давать друг другу хорошие примеры, не ожидая за то никакой награды, *nihil inde sperantes*, что честность наша должна быть основана на бескорыстном чувстве справедливости. Подобные правила должны бы считаться основными законами общежития, а между тем в наше время их вовсе не признают. Мы все сводим к полезному, за все хотим получать вознаграждение. Я знал один журнал, который в продолжении первых шести месяцев своего существования, вел дело честно и беспристрастно для того только, чтобы впоследствии дорожке брать за свое молчание и свои рекламы. Правило, что только то и можно уважать, за что ничего не платится, сделалось в наших глазах парадоксом. Вот почему, поставляя принцип непродажности произведений наших эстетических способностей и выводя из этого принципа безнравственность интеллектуальной собственности и налога на торговлю художественными и литературными произведениями, я не могу не обратиться к внутреннему чувству читателя и не сказать ему, что если прекрасное, справедливое, священное и истинное не трогает больше его душу, то я не могу подействовать на него никакими убеждениями. В таком случае мои рассуждения будут совершенно излишни и я только даром буду тратить и время и слова.

Итак я повторяю, что налог на просвещение, на учебники, а вследствие того и на распространение, науки, философии, литературы и искусств равнозначителен налогу на обедню, на совершение таинств, подобный же налог конечно в высшей степени безнравственен. Весьма вероятно, что с первого раза налог на книги не остановит их обращения, но со временем нравственные последствия этого налога будут ужасны. Признав, что все, до сих пор считавшееся священным, неприкосновенным, даже со стороны казны, не принадлежащим к области торговли, на будущее время должно считаться продажным, подлежащим налогу и могущим составить объект права собственности, вы одним почерком пера произведёте в нравственном мире самую страшную революцию. Все будет

материализовано и унижено перед лицом неумолимого, как древняя судьба, фиска, который таким образом будет стоять выше разума, совести и идеала. Ничего нельзя будет назвать прекрасным, великодушным, величественным и священным, на все будут смотреть только с меркантильной точки зрения, все будет оценено на деньги и все будет уважаемо лишь на столько, на сколько содействует нашему наслаждению. Заниматься поэзией и красноречием станут лишь тогда, когда это будет выгодно; над бескорыстной честностью будут насмехаться. Так как и гражданский и уголовный кодекс, и декалог и евангелие, предписывая человеку что делать и чего не делать, не назначили вознаграждения за исполнение этих предписаний и так как придется согласиться с Бенхамом и со всей утилитарной школой, что справедливость — выгодна, то преступления и проступки обратятся просто в контрабанду. Честность будет понятием условным: какая упрощённость! Еврей совершает над собою обрезание в знак того, что он освобождается от тела и отказывается от нечистоты; мы же, которым Христос проповедовал обрезание сердца, уничтожим в себе и благородство, и добродетель, и ободряющий, подкрепляющий нас идеал. Мы оправдаем слова Горация и сделав из философии стойло для свиней и гордясь подобною гнусностью, будем восторгаться своим прогрессом!

Не думаю, чтобы противникам моим были понятны подобные размышления. Не то, чтобы я сомневался в их нравственности, но фразерство притупило их умственные способности. Литература для той умственной среды, в которой они живут, ни что иное как один из видов парижских изделий, на искусство они смотрят как на изготовление детских игрушек. Увлечённые собственною своею болтливостью они принимают свои промахи за новые открытия. Всякий, вздумавший открыть им глаза, обзывается софистом и чем более ерунды они несут, тем более считают себя вдохновенными людьми. Разве вы не слышите как они ежедневно кричат о порабощении и застое прессы? Но берегитесь! они отстаивают не истину, а только свою промышленность. Рвение, с которым они стоят за свободу прессы не мешает им требовать установления бессрочной ренты в пользу пишущей братии. Они покраснели бы от стыда если бы могли видеть в какие противоречия впадают; но к счастью они слепы{17}.

# § 7. Учреждение промышленной собственности по образцу литературной: восстановление цехов и корпораций

Учреждение литературной собственности, необходимо влечёт за собою видоизменение промышленных привилегий, а вскоре затем и восстановление всей феодальной системы. Очевидно, что форма, приданная мысли писателем, не более священна, не более носит на себе отпечаток личности, чем формула учёного или изобретение промышленника и что если непрерывная поземельная рента может быть установлена в пользу первой, то в ней нельзя отказать и двум последним. Все ограничения, предлагаемые по этому поводу защитниками литературной собственности, для которой гибельно подобное заключение, представляются пустыми словами. Это впрочем понимал и принц Луи-Наполеон, когда в письме к Жобару, проповедуя бессрочность привилегий, он высказал мнение, которое мы уже приводили: «Интеллектуальное произведение такая же собственность, как и земля или дом, оно должно пользоваться теми же правами и не может быть нарушаемо иначе, как в интересе общественной пользы».

Нет ремесла, которое в настоящее время не было бы осаждаемо и забрасываемо несколькими привилегированными изобретениями. Патенты на изобретения, превращенные по желанию Жобара в собственность, повели бы к привилегированию эксплуатаций, к восстановлению цехов с тою лишь разницею, что в прежнее время цеховое право было ленным правом, тогда как теперь было бы оно основано на мнимом праве собственности.

Во первых, нельзя отрицать, что со введением бессрочных привилегий, конкуренция получит смертельный удар. Промышленная и коммерческая свобода только тем и поддерживается, что привилегии срочны и через несколько лет изобретение делается общественным достоянием. Промышленники и фабриканты не привилегированные,

принужденные употреблять обыкновенные, старые способы производства, ждут не дожидаясь истечения срока привилегии, который для них есть час освобождения. Иногда несчастные фабриканты выходят из этого грустного положения тем, что сами в свою очередь делают изобретателями, иногда также случается, что патентованное изобретение нейдет в ход потому, что на него нет спроса, или потому, что оно преждевременно, плохо обдумано и явилось при неблагоприятных условиях. Как бы то ни было, но срочные привилегии и конкуренция, действуют друг на друга как два цилиндра, вертящиеся в различные направления; эти два деятеля служат поддержкой для труда и двигателями прогресса. Я согласен с тем, что есть много несчастных изобретателей; есть такие, которых подлейшим образом ограбили; очень часто полезное изобретение остается бесплодным, или разорив изобретателя обогащает презренных спекуляторов. Все это указывает на необходимость произвести реформу, как в законодательстве о привилегиях, так и в общественной экономии и нравах. Необходимо удовлетворять требованиям свободы и соблюсти права гения, словом необходимо установить прочные гарантии и для личной инициативы, и для дешевизны продуктов, и для общественного благосостояния.

Но, при бессрочности привилегий, необходимым последствием которой было бы преобладание свободы над гением или гения над свободой, конкуренция не могла бы существовать и мы вскоре впали бы в неподвижность. «Нет» говорит Жобар, «против бессрочных привилегий вы можете выставить постоянную конкуренцию новых изобретений». Это возражение, с первого взгляда кажущееся удовлетворительным, падает при практической его проверке.

Триптолем изобрел соху, до сих пор еще употребляемую в некоторых странах. Соха есть орудие состоящее: 1) из остроконечного сошника, насаженного на рукоятку как крючок на палку и предназначенного горизонтально поднимать землю; 2) из двух ручек, расталкивающих направо и налево поднятую сошником землю, не перевертывая ее. Триптолем получил привилегию на исключительное право фабрикации и продажи этого орудия. Впоследствии несовершенство подобной сохи было доказано. Один земледелец прибавил к ней орало, предназначенное бороздить землю вертикально, расширил сошник с одной стороны, уничтожил одну из двух ручек, округлил и приправил другую таким образом, что земля, разрезанная вертикально оралом и горизонтально сошником, обращается вокруг своей, оси и перевертывается верх дном. Третий земледелец ставит соху на колеса и делает некоторые улучшения в подробностях. Каждый из этих изобретателей в свою очередь патентуется, как и первый, и получит бессрочную привилегию на фабрикацию или право бесперывной ренты. Но тут нужно заметить три вещи.

Во первых, с земледельческой точки зрения, эти постепенные улучшения в сущности друг с другом не конкурируют, а только дополняют и поддерживают друг друга: так что если усовершенствованный плуг Матье де Домбале (Dombasle) и значительно лучше сохи Триптолема, то публика, обязанная платить ренту и тому и другому изобретателю все таки ничего не выигрывает от существования двух привилегий, вместо одной. Результат будет лишь тот, что все изобретатели, трудившиеся над улучшением устройства плуга вместо того, чтобы пользоваться каждому в отдельности своей идеей, соединятся для фабрикации плугов и сох, составят товарищество для снабжения земледельческими инструментами всех стран, где занимаются земледелием. Или же изобретатели, за известную плату и с

известным ограничением, передадут свое право фабрикации земледельческих орудий посторонним антрепренерам. Таким образом явится цех, корпорация людей, фабрикующих плуги и сохи. Если вслед за тем появится плуг, приводимый в движение паром, то он будет хорошо принят: правда в таком случае будет одним соучастником больше, но за то увеличится и доход компании. Крайним последствием всего этого будет то, что мелкие земледельцы, не будучи в состоянии купить плуг, содержать упряжь и платить поземельную ренту изобретателям, принужденные пахать лопатой, будут разорены конкуренцией зажиточных земледельцев. Вопрос прогресса превращается таким образом в вопрос капитала: с одной стороны развитие земледелия усиливается, с другой интересы мелких земледельцев страдают. Таким образом промышленная собственность становится опасною для собственности поземельной, труд становится недоступным для бедного; незначительным хлебопашцам приходится бросать землю, так что в конце концов там, где прежде было сто мелких собственников, явится один богатый землевладелец, пер Франции, украшенный всевозможными орденами. Такие гибельные последствия могут вытекать только из существенно ложного принципа.

Другой и последний пример. Гуттенберг получил привилегию на изобретенные им подвижные буквы, а Фуст и Шеффер на изобретенный ими способ переливания шрифтов. Естественно, что эти изобретатели имеют друг в друге нужду, им выгодно составить ассоциацию. Они получили на вечные времена привилегию, на основании которой имеют право печатать книги и отливать шрифты, а также могут, за известное вознаграждение, передавать другим лицам право печатать книги, отливать шрифты, вести торговлю печатными книгами и типографскими принадлежностями. Впоследствии в типографском деле является множество последовательных улучшений и все частные усовершенствователи группируются вокруг первого изобретателя и таким образом снова возникают корпорации, цехи типографов, в которых есть свои мастера, подмастерья и ученики. Является Зеннефельдер и литография, думаете вы, начнет конкурировать с типографией? — Совсем нет; типографы заключат договор с литографами и привилегированный цех будет с тех пор называться типографским и литографским. Поборники свободы жалуются на то привилегированное положение, в котором книжная торговля и книгопечатание находятся с 89 года, но того и не замечают, что дарование подобной привилегии ничто иное как хитрая полицейская мера. Предположите, что интеллектуальная собственность уже установлена и правительству в этом отношении не об чем будет и заботиться.

В системе промышленного феодализма хозяева-типографы составляли бы класс дворян, аристократов, которые столько же как и сам король (а пожалуй даже и больше) заинтересованы в сохранении существующего порядка. Достаточно пустить в ход привилегии авторские и типографские, и эти привилегированные собственники вполне заменят и типографскую полицию и цензуру.

В газетах недавно говорилось о наборщиках, просивших восстановить корпорации и о хозяевах типографий, требовавших цензуры. Побудительною причиною для первых служила конкуренция женщин, которые появившись во многих типографиях в качестве наборщиц сбили заработную плату до тех пор получаемую мужчинами; в основании же просьбы хозяев лежало опасение подвергнуться судебному преследованию. В настоящее время мы еще

колеблемся, но установите литературную собственность — и само правительство, и учёные, и хозяева, и рабочие сознаются, что мы возвратились к феодальному порядку!..

Здесь снова я повторяю замечание, сделанное мною выше по поводу изобретения сохи: применение ложного принципа всегда влечёт за собою гибельные последствия. К чему эта бессрочная монополия в пользу Гуттенберга и компании? Разве основная идея книгопечатания, а именно подвижность букв, не должна была неизбежно рано или поздно вытечь из искусства печатать на твердых, неподвижных досках, которое было известно гораздо прежде Гуттенберга, и на котором основано книгопечатание Китайцев? Разве эта мобилизация шрифтов не вытекала *à contrario* из самой их твердости? Разве не таков обыкновенный ход человеческого мышления, чтобы постоянно вывертывать все понятия наизнанку, бросать рутинное воззрение, идти наперекор преданию, как поступил например Коперник, отвергнув гипотезу Птолемея, как поступает логик, прибегающий попеременно то к индукции, то к дедукции, то к тезе, то к антитезе. Что касается до постепенных усовершенствований, то они составляют только развитие одной основной идеи, так же неизбежно из неё вытекающая, как сама она вытекает из разрушения другой, противоположной ей идеи.

То, что сказано мною о книгопечатании и земледелии, может быть применено и ко всякому ремеслу, ко всякой промышленности, ко всякому искусству. Везде мы видим, что один ряд предприятий неизбежно влечёт за собою другой; так что если бы постоянно применять принцип присвоения, то масса народонаселения была бы в зависимости от нескольких сотен антрепренеров и привилегированных мастеров, которые составляли бы аристократов в области производства, кредита и мены. Это было бы равнозначуще установлению давности в пользу монополии, но в ущерб разуму. Итак принцип интеллектуальной собственности ведет прямо к порабощению рассудка, а вслед затем и к восстановлению или ленов, или общинного владения землею, которая повсюду будет объявлена собственностью государства, словом к восстановлению господства феодального права. Ни одна промышленность, ни одно ремесло, не смотря на несколько веков свободы, не может быть вполне обеспечено от монополизации. Все это не мешает приверженцам интеллектуальной собственности быть в то же время приверженцами свободной конкуренции, свободного обмена. Согласите же подобные противоречия.

# § 8. Влияние литературной монополии на общественное благосостояние

Я, думаю, достаточно объяснил (по крайней мере для каждого человека, мысль которого не заключена в тесном кругу материальных интересов), каким образом создание художественной и литературной собственности есть ни что иное как отрицание от высоких идей, которые составляют достоинство человека, освобождая его от рабства перед потребностями тела и требованиями домашнего хозяйства. Я хочу теперь показать каким образом эта же самая собственность ведет к усилению пауперизма.

В былое время, которое я еще хорошо помню, прежде чем торгашество, с своими ростовщическими приемами, вторглось во всевозможные отношения между различными классами общества, отношения эти имели совершенно другой характер. Товары продавались и отпускались, договоры заключались не так как теперь, во всем было больше мягкости. Каждый мерил щедрой рукой, и купец, и ремесленник, и поденщик, и слуга, никто не щадил своего труда. Весы всегда склонялись в пользу покупателя; никто не торговался из-за пяти минут или из-за сантиметра; всякий честно, с избытком зарабатывал свое жалование или свою поденную плату. Патроны, антрепренеры, хозяева, с своей, стороны держались тех же правил в отношении своих рабочих, приказчиков и слуг, сверх условленной платы давались еще особые прибавки на водку, на булавки. Этот обычай сохранился и до сих пор, но подобные надбавки в настоящее время сделались обязательными и считаются составною частью самой платы. Оптовой торговец в былое время также отмеривал товар щедрою рукою, прибавляя всегда известный привесок к дюжине, к сотне, к тысяче. Последствием таких обычаев было положительное увеличение народного богатства, так как каждый производитель, начиная от слуги и рабочего и кончая самым богатым фабрикантом, как будто бы подарил обществу  $\frac{1}{2}\%$ , 1 % или даже 2 % со своего ежедневного заработка, или уделил обществу соответствующую часть своего ежедневного дохода. И заметьте притом, что подобная щедрость существовала рядом с духом бережливости, так как роскоши в это время вовсе не было, всякий скупился на расходы на самого себя для того, чтобы быть в состоянии что либо уделить другим. В таких принципах крылась причина дешевизны продуктов, общественного благосостояния и высокого уровня нравственности. В то время больше трудились и сберегали, меньше расходовали и меньше грабили, а вследствие того всякий сознавал, что он честный и



хороший человек и был счастлив. При отсутствии скупости, не существовало ни нахальства, ни низости; мелкие люди не воровали, большие не грабили; предположения антрепренера, отца семейства, всегда оправдывались. Щедрость в отношении к другим относилась в бюджет каждого гражданина. Никто не ошибался в своих расчётах потому, что условившись в цене и количестве товара всякий знал, что неуловимая убыль, которая неизбежно сопряжена со всяким производством, приобретением, перенесением, потреблением и которая в случае частого повторения может сделаться обременительною, покрывается тою незначительною сбавкою цены, которая делалась без всякого разговора.

Все это, как легко видеть, изменилось ко вреду всей страны и каждого из нас в отдельности. Новое направление в торговле, по которому все высчитывается не только на франки и сантимы, но даже и на дробь сантимов, в котором принято за основное правило, что время те же деньги и следовательно, всякая минута имеет свою цену; новый дух мелкого торгашества, ловкого барышничества изменил условия общественного благосостояния и нравственности. От скупости мало-помалу перешли к мошенничеству. Каждому свое, говорим мы, и осуществляем эту вечную аксиому тем, что отмериваем все с безнадежною точностью. По честности своей мы ничего не убавим, но и не дадим ничего, кроме условленного, цифрами определенного количества. Само собою, что эта идеальная точность, не осуществимая на деле всегда обращается во вред покупателя. Слуга всегда находит, что работает слишком много, по тому жалованию, которое получает; он ложится спать и встает когда ему вздумается, выговаривает себе право отлучаться из дому два раза в месяц, требует подарков к праздникам, приобретает в свою собственность все то, в чём господину его миновалась надобность, берет в свою пользу те сбавки, которые делают поставщики, словом обогащается на счёт своих господ. Работник и приказчик, высчитывают каждую минуту; они ни за что не войдут в мастерскую до звонка, ни минуты не останутся в ней долее положенного срока; хозяин вычитает из заработной платы за всякий час, пропущенный рабочим, за то и рабочий, с своей стороны, не подарит хозяину ни минуты; от такой мелочности конечно страдает дело потому, что работа ведется нехотя и кое-как. От надувательства в качестве товара мало-помалу переходят к надувательству и в количестве; всякий старается отнести на счёт другого неизбежную убыль и дефектные экземпляры; дорожа своими трудами всякий старается обмерить, обвесить, надуть другого. Получив нечаянно фальшивую монету, никто ее не уничтожит, а всякий старается сбыть другому. Человек, которого нанимают поденно или понедельно, надеясь на его добросовестность, попусту тянет время. Работник, получающий задельную плату, заботится только о количестве, но не о качестве продуктов и для того, чтобы сделать более, работает на скоро и плохо.

Все это неизбежно влечёт за собою такой ущерб, который сначала не замечается, но со временем непременно проявится в дороговизне продуктов и во всеобщем обеднении. Это все равно, что если бы каждое из лиц, участвующих в производстве и обмене продуктов, каждый работник или работница, каждый приказчик, каждый чиновник и т. д. ежедневно крал бы у общества ценность, равняющуюся стоимости четверти рабочего часа.

Предположим, что эта четверть часа стоит 10 сантимов, а производителей во Франции 25,000,000 в таком случае годовая убыль будет равняться 912,000,500 франкам. Одно это обстоятельство могло бы служить объяснением стеснительного положения страны.

Заметьте притом, что скряжничая в деле труда, мы с другой стороны, не жалеем расходов

на предметы роскоши; мы именно потому-то и делаемся расчётливы и скупы, что потребности наши разрослись. Таким образом, вдаваясь в роскошь, мы мало-помалу впадаем в безнравственность и незаметно приближаемся к нищете.

Литература и искусство должны бы стараться поддерживать и развивать добрые старые обычаи, содействовать созреванию и развитию этого драгоценного семени, кроющегося в сердцах людей. В этом случае голос писателя или артиста имел бы авторитет, так как произведения этих людей непродажны и потому им всего приличнее проповедовать умеренность и бескорыстие. Сами подавая пример самопожертвования они были бы истинными апостолами общественной благотворительности. Но писатели пойдут совершенно иным путем когда закон освятит принцип литературной собственности, который поведет к совершенному уничтожению благородного и великодушного элемента в общественных отношениях.

Слишком много думая о своем таланте, соразмеряя количество требуемого вознаграждения с тем чрезмерно-высоким понятием, которое сами они имеют о своих произведениях, литераторы и художники только о том и мечтают, чтобы быстро нажить себе состояние. Так как и общество того же мнения, то у нас вместо литературы является промышленность, удовлетворяющая нашему стремлению к роскоши и способствующая развращению общества.

Журналисту платят со строки, переводчику с листа, за фельетон платят от 20 до 500 франков. Один из моих приятелей упрекал Нодье в том, что он испещряет наречиями свой растянутый и тяжёлый слог; на это Нодье отвечал, что слово, состоящее из восьми слогов, может составить строку, а строка стоит франк.

Издатели умеют растягивать строки, увеличивать шрифты и таким образом по произволу умножать число листов и томов. Цена книги в настоящее время определяется уже не количеством издержек на издание с присовокуплением того вознаграждения, которое следует автору, но соразмеряется с степенью известности сочинения, со внешним видом и весом книги. Соблюдая уважение к мыслям автора и заботясь о карманах подписчиков издатель «Истории консульства и империи». (*Histoire du Consulat et de l'Empire*) назначил 2 франка за большой том в 600 и даже в 900 страниц. Спекулятор, издавший «Несчастных» (*Les Misérables*), растянул на 10 томов и продает за 60 франков роман, который легко уместился бы в 4 томах и мог бы стоить 12 франков. Из этого простого сближения можно ясно видеть, как действуют честные люди и как поступают барышники.

В настоящее время жалуются на то, что вся образованная молодежь ищет блистательной карьеры, что она никак не берется за ручной труд, что вследствие этого общественному порядку и добрым нравам грозит сильная опасность. Думали свалить всю вину на Греков и Римлян, но это совершенно нелепо. Виноват во всем этом не Виргилий, не Цицерон, не Демосфен, а тот промышленный дух литературы, развитию которого думают положить предел установлением бессрочной монополии. Между тем как серьёзных сочинений появляется все меньше и меньше, а произведений литературно-промышленных — гибель, литературный мир переполнен талантами совершенно нового рода. В наше время редко пишут по вдохновению; писатель, у которого встречаются оригинальные мысли, облакаемые

в оригинальные же формы, может считаться фениксом; за то мы отлично умеем прикрывать пустоту содержания формами, заимствованными у великих мастеров, скопированными с знаменитых оригиналов. Все у нас продажно, из всего мы умеем сделать ремесло. Мы стоим ниже бродяг, — мы впали в проституцию и трудно решить, можно ли поставить толпу наших голодных литераторов выше тех несчастных танцовщиц, которым директора театров платят по 2 франка за вечер или даже и ничего не платят, так как они довольны и тем, что имеют случай показать публике свои прелести: эти несчастные женщины торгуют своим телом, но по крайней мере не искусством. Они по крайней мере могут сказать с Лукрецией : *Corpus tantum violatum, animus insons*.

# § 9. Общий вывод. Еще о праве собственности

Книга моя приняла слишком большой размер, но я далеко еще не все сказал.

Мне хотелось бы поподробнее развить каким образом, с установлением интеллектуальной собственности, торговля и промышленность возвратятся к цеховому устройству; каким образом и поземельная собственность, аллодизированная революцией, будет увлечена общим движением и возвратится к менее цивилизованной, менее социальной ленной форме. Если дошедшие до меня сведения верны, то в известном мире изготовлен уже проект преобразования института поземельной собственности и организации больших земледельческих компаний, которые сотрут с лица земли мелких собственников, мелких земледельцев, подобно тому, как общества железных дорог стерли с лица земли держателей дилижансов. Дух феодализма не совсем еще угас во Франции, он живет в умах самозванных демократов, скорее чем в умах читателей «Французской газеты» и членов общества св. Винцента (St. Vincent de Paul).

Мне следовало бы показать, что так как Франция вступила на ретроградный путь, между тем как другие государства следуют совершенно противоположному направлению, то антипатия, разномыслие и враждебность интересов необходимо должны проявиться в международных отношениях; что последствием предполагаемой реформы будет война из-за принципов, в которой Франция поменяется ролями с коалицией, так как первая будет защищать феодальное право, а вторая — свободу и революцию. Ясно, что если во Франции будет введена интеллектуальная собственность, т. е. бессрочная монополия, то все международные трактаты потеряют силу и иностранный труд, не стесняемый никакими привилегиями, безвозмездно пользуясь нашими открытиями, будет находиться в лучшем положении, чем труд у нас, во Франции. Для того, чтобы подобное положение дел не повело к войне, нужно, или чтобы иностранные государства согласились возвратиться к феодальной системе, или чтобы Франция отменила только что установленный ею закон и возвратилась на путь свободы.

Сокращая свои рассуждения, сделаю вывод:

а) Нет и не может быть литературной собственности, аналогичной собственности поземельной. Установление литературной собственности противоречит всем принципам политической экономии, так как её нельзя вывести ни из понятия продукта, ни из понятий мены, кредита, капитала и процента. Услуга писателя, если рассматривать ее с точки зрения экономической и утилитарной, непременно заставляет подразумевать существование между автором и обществом договора мены услугами и продуктами, а из этого обмена вытекает то положение, что по вознаграждении писателя назначением в

пользу его срочной привилегии, литературное произведение становится собственностью общества.

б) К сфере интеллектуальной неприменим принцип завладения; в эту сферу не допускается эгоизм и продажность. Религия, правосудие, наука, поэзия, искусство, теряют все свое значение, как только они делаются объектом торга, потому что их распределение и вознаграждение подчинены совершенно другим правилам, чем распределение и вознаграждение промышленных продуктов.

в) Что касается до политической и экономической системы, то признание принципа завладения имело бы на них губительное влияние. Оно повело бы к восстановлению ненавистной народам системы, которая в настоящее время приняла бы еще худший вид, так как в былое время она основывалась на религии, а теперь была бы построена на материализме и всеобщей продажности.

После всего этого выслушайте, что я вам скажу, вы, трусливые и простоватые буржуа и собственники, которым монополия, как знаменитый кот в сапогах в сказке Пьерро, кричит: «Если вы отвергнете интеллектуальную собственность, если вы не скажете, что литературная собственность есть такая же собственность, как и всякая другая, то и ваша поземельная собственность будет лишена всякой опоры, явятся делильщики и всех вас ограбят»; — слушайте же, что я вам скажу:

Двадцать три года тому назад я отнесся к праву собственности, что называется, критически. Надеюсь, что критика эта была обстоятельна и добросовестно составлена. Я мог ошибаться, скромность прилична человеку, у которого столько врагов; но и в этом случае велика-ли моя вина? Составляя свое критическое исследование, которое, надеюсь, было на столько самостоятельно, на сколько вообще может быть критика, которым я гордился, потому что видел в нем исходную точку социальной науки, путь к примирению сословий и задаток лучшего государственного устройства, я старался не выходить из пределов критики, не требовал экспроприации собственников, вооружался против коммунизма, рискуя таким образом быть обвиненным в непоследовательности, лицемерии, двоедушии. Я доказывал лишь то, что наша практическая философия совершенно еще новая наука, что если мы отреклись от феодальных учреждений, то все-таки еще государственное устройство наше не вполне удовлетворяет требованиям свободы; что экономическое наше положение еще хуже политического; что все наши сведения по части социальной экономии и государственного управления ограничиваются тем, что мы видим в них бездну противоречий; что, разрушив старый порядок, мы еще не приступили к установлению нового; что даже самые почтенные из наших учреждений в сущности все-таки создания нашего злого гения; что все это — есть неизбежное последствие того революционного положения, в котором мы находимся, и которое служит предвозвестником зарождения нового права, новой философии, в которых прошедшее примиряется с будущим, которые положат прочное основание нашему благополучию и славе.

Все это было сказано мною по искреннему убеждению; я был уверен, что сообщая публике свои мысли — осуществляю свое право и даже выполняю свою обязанность; самого меня, более чем кого-либо другого, изумили те положения, к которым привел меня тщательный

анализ вопроса. Если я ошибся, и если вы, почтенные буржуа, столько же уверены в этом в настоящее время, как пятнадцать лет тому назад, то простите меня во имя философской терпимости и свободы мнений, допускаемой нашими законами. Неужели весь этот спор об авторских правах не привел еще вас к убеждению, что нужно бояться педантского невежества, а не свободного исследования; что люди, восстающие против моей критики и объявляющие себя защитниками права собственности, в сущности, понимают дело гораздо хуже, чем я понимал его в 1840 г., так как они приводят доводы, двадцать раз опровергнутые, которые больше всего компрометируют принцип права собственности.

В настоящее время меня преследует другая мысль, которую вы можете, пожалуй, тоже отнести к области галлюцинаций, но консервативного направления которой вы не будете в состоянии скрыть. Мне кажется, что праву собственности, под бременем государственного долга в 20 миллиардов, бюджета в 2 миллиарда, возрастающей централизации, закона об экспроприации по требованиям общественной пользы, которым нет никаких границ, при таком законодательстве, которое вводя принцип бессрочности литературной монополии идет к восстановлению феодальной системы; праву собственности, которое отстаивается неловкими адвокатами, которое угнетается барышничеством, и беззащитно от всевозможных проделок шарлатанства; праву собственности, не смотря на энергическую защиту со стороны правительства, грозит большая опасность, чем в 1848 году. — «К чему сословие собственников в Париже?» такое название носила одна брошюра, вышедшая несколько лет тому назад, которая была пробным камнем особой секты, своими ловкими проделками влекущей нашу слепую нацию к промышленному халифату. Настанет, и очень скоро, время, когда вы услышите и другой вопрос: «к чему сословие собственников во Франции?» Тогда-то, как в 1848 г., праву собственности придется искать новых спасителей, а спрашивается где же оно найдет их, если против него восстанут те самые люди, которые его прежде защищали?... Я думаю, что тогда-то и настанет время для критического социализма, которым вас столько раз пугали, обнародовать свои выводы и разрешив страшную задачу, принять на себя защиту права собственности. Будьте покойны, защита критического социализма будет для права собственности самую действительною защитой, которая поставит его на твердую почву. Дело обойдется без всяких издержек с вашей стороны и без всяких уступок со стороны нашей отверженной касты.

Критика, очищая, проветривая идеи, прежде чем передает их публике, не требует за это никакой привилегии. Она идет прямой дорогой, уверенная в своей логичности, никогда не пятится назад и не впадает в противоречия. Она независтлива, она заботится не об одной только славе, не об одной своей личной выгоде; отводя всему надлежащее место, она отдает каждому должное. Поэтому-то она стоит за разделение земли между частными владельцами, но восстает против установления интеллектуальной собственности.